

Максим Черников

Моя дорогая Баттерфляй

СОДЕРЖИТ

НЕЦЕНЗУРНУЮ

БРАНЬ

18+

Максим Черников

Моя дорогая Баттерфляй

«Автор»

2020

Черников М.

Моя дорогая Баттерфляй / М. Черников — «Автор», 2020

История диссидента, сбежавшего из СССР в Канаду. Его мучают угрызения совести, ведь там осталась семья. Он пишет письма жене, в которых изливает душу. И слушает на магнитофоне оперу “Мадам Баттерфляй”. Содержит нецензурную брань.

© Черников М., 2020

© Автор, 2020

Содержание

Вступление (записка от 28 сентября 1982 года)	5
Письмо первое, 3 октября 1982 года	7
Письмо второе, 28 октября 1982 года	8
Письмо третье, 17 ноября 1982 года	10
Письмо четвертое, 23 ноября 1982 года	12
Письмо пятое, 4 декабря 1982 года	15
Конец ознакомительного фрагмента.	16

Максим Черников

Моя дорогая Баттерфляй

Вступление (записка от 28 сентября 1982 года)

Я хочу рассказать вам про диссидента, или просто перебежчика, который, работая помощником капитана на торговом судне Морфлота СССР, в конце 1981 года сошел на канадский берег и... не возвратился. Этот бывший моряк, который слишком долго плавал, страдает в Канаде, посреди сытой жизни и решает начать писать письма своей дорогой Мадам Баттерфляй, как он ее с недавних пор стал называть, то есть жене Любе. Но вместо нее эти письма, как он уверен, будут читать агенты КГБ, после его побега следящие денно и ночью за его семьей. Но он лишит их хотя бы одного удовольствия – «внезапного» появления на советской границе; там бы его немедленно схватили, допросили и заставили бы написать покаянное письмо в ЦК КПСС (он ведь партийный!) и еще куда-нибудь, по месту работы, например. И только после этого, на быстро организованном образцово-показательном суде, самом справедливом суде в мире, его бы приговорили к «вышке» за измену Родине и шпионаж в пользу Канады, США и Великобритании, плюс несколько убийств, изнасилований и прочих тяжких преступлений – отличная возможность сбросить на него все нераскрытые «висяки». Но также могли бы, проявив невероятное душевное благородство и снисхождение, дать ему лет двадцать пять тюрьмы. Советский суд, как известно, не только самый справедливый, а еще и самый гуманный суд в мире!

«Ему» – это мне. Да, это я тот самый моряк, который слишком долго плавал и теперь капитально обосновался на суше. Это я решил писать письма моей Баттерфляй в глупой надежде, что она их прочтет и поймет меня. И простит. Как говорится, надежды юношей питают. Но я все равно с непонятным – даже для себя – упорством сажусь за стол и пишу эти грустные, надрывные письма. Как там поется в песне? «Я не могу иначе».

В Канаде я получаю отличное представление о том, что происходит там, на Родине – слышу обрывки последних шлягеров, как вот этот, про жалейку, над которым у нас все смеются и издеваются, но все равно слушают... Ностальгия! Даже они, пламенные ненавистники всего советского, не защищены от нее. Я и они, мы всегда в курсе последних новостей – по работе ведь нужно, да и интересно, признаюсь. Даже газету «Правда» есть возможность читать и советское ТВ смотреть – тоже работа обязывает; хотя куда лучше слушать сарафанное радио, которое работает как швейцарский банк – диссидентские каналы, несмотря на все препоны, отлажены и каждый день выдают порцию настоящих, не отлакированных телерепортажей, а именно что новостей. Это, конечно, все не моя заслуга, а специфика работы на местной русскоязычной радиостанции, состоящей из эмигрантов и диссидентов. Я благодарен за то, что меня взяли сюда, иначе прозябал бы на обочине, в нищете. А так неплохая даже по местным меркам зарплата, не высокая, но вполне средняя и отсутствие необходимости лихорадочно учить язык и устраиваться на первую подвернувшуюся работу, не важно какую, не до жиру, быть бы живу. Работа, в общем-то, по моей специальности, она мне нравится и общение есть. Правда, признаюсь, что радиостанция абсолютно политизированная и антисоветская, такая классика жанра здесь. Ничего не попишешь, таковы условия спонсора (то есть государства, которое все оплачивает), да и мы от души этим занимаемся. Так сказать, как можем подрываем ненавистный советский строй. По крайней мере, я работаю с азартом и охотой, потому что верю в свою нынешнюю миссию, да и коллеги мои не меньше моего увлечены этой борьбой. Есть у нас, слава богу, несколько программ, в которых обходится без политики, ностальгиче-

ских, про культуру, в основном дореволюционного периода, две из них ведет Марья Ивановна, наша уважаемая старейшина, чудесный человек, я еще, будем надеяться, про нее расскажу...

Но не буду утомлять подробностями своей жизни, надо как можно скорее перейти к делу. То есть к самим письмам. Не знаю, насколько регулярно я их буду писать и тем более отправлять (заведомо проигрышное предприятие!), но по крайней мере запал у меня есть, и не на одно письмо. Посмотрим, как пойдет. Написать бы первое для начала.

Письмо первое, 3 октября 1982 года

Ну, вот, и не так много времени прошло после той записки, так сказать, пробы пера, которую я написал 28 сентября... Сегодня третье октября, и я уже пишу мое первое письмо тебе, Люба. Моя дорогая Баттерфляй, Любушка, жена моя... Хотя уверен, что ты мне уже не жена – товарищи из компетентных органов об этом позаботились, заставили отказаться от меня. Эти сволочи, могу поспорить, рассказали тебе, какой я негодяй. Да и ты сама поняла: я не вернулся. Ты подала на развод, и в силу особых обстоятельств – исчезновение предателя мужа, перебежчика, еврея-диссидента, – его удовлетворили в нашем самом справедливом советском суде... А может, и нет, сказали, что так нельзя, наш высокий и самый справедливый в мире советский суд непредсказуем. И ты стала соломенной вдовой. Если так, то нет мне прощения. Все равно бы не было. И почему мне? Может, это нашему проклятому богом государству нет прощения? Может, это ему стыдно должно быть?

Любушка, я знаю, это смешно и нелепо даже звучит, но здесь, в Канаде, я увлекся оперой. Особенно полюбил я пуччиниевскую «Мадам Баттерфляй». Когда слушаю ее, сердце прямо надрывается. И встает перед глазами твой образ. Плачу как мальчишка, каюсь, виню себя, катаюсь по полу, вою как собака, выпиваю залпом стакан виски, потом еще и еще, вот уже хлебаю из горла, пока бутылка не опустеет. Бар давно стоит пустой – все, что покупаю исчезает во мне. Прости меня, Любушка, моя дорогая Баттерфляй. Если бы ты увидела мои страдания, ты бы простила, я знаю, у тебя доброе сердце. Простила бы даже то, что я называю тебя так глупо и пошло – «моя дорогая Баттерфляй». Понимаю, это звучит как издевательство. Но не могу удержаться. Хочу именно так тебя называть.

Сколько раз я хотел набрать на кнопочном телефоне наш домашний номер – они так и стоят перед глазами, эти цифры... И словно чей-то голос говорит мне: «Позвони, позвони, позвони!» И что бы я изменил этим звонком? Только хуже бы сделал. Тебя и так, уверен, замучили эти кэгэбэшные твари. Они только этого и ждут.

А голос этот настырный все равно твердит по-прежнему: «Почему не звонишь? А ну, позвони же!» Я ведь понимаю, что не надо звонить, что я этим звонком изменю? Голоса, голоса. Я что, может, с ума схожу? Да нет же, просто навязчивая такая идея. Совесть, совесть – это она не дает покоя.

И что только мне не снится! Часто вижу женщину в ночной рубашке. И не похожа на тебя, но все равно знаю, что это ты. Глядит на меня с упреком, с ней две девочки – опять полное несовпадение. У нас два мальчика – с недавних пор. А эти девчонки, что с женщиной в ночнушке, глазищи у них громадные, смотрят пристально, не мигая. Уж лучше бы крикнули что-нибудь, и то спокойнее было бы. А то ведь молчат, и как раз это более всего невыносимо.

Письмо второе, 28 октября 1982 года

Люба, снова пишу тебе, хочу высказать то, что наболело. С кем мне еще делиться всем этим? Ты ведь не удивишься, если скажу, что не меньше, чем по тебе, я скучаю по старшему сыну, Димке. Вот кто моя боль, причем такая радостная, светлая боль. Как вспомню его озорную, проказливую улыбку, его шалости, его веселую поглядку, так сразу носом хлюпаю.

Видел на днях мальчишку, чуть похожего на него, точнее, не был он похож на него никак, просто я уловил в его взгляде... Он посмотрел на меня по-димкиному, и все поплыло перед глазами, все стало волшебной дымкой от слез, я чуть не упал даже, потому что ничего не видел. Пришлось остановиться, снять очки и протереть стекла, высморкаться хорошенько. Здесь не принято, как у нас, пристально смотреть на людей, особенно на детей, полицию могут вызвать. Мать ребенка заволновалась – какой-то мужик в потертом пиджаке умильно, аж со слезами, смотрит на ее сына. Вот я и свернул скорее за угол, чтобы ее успокоить, стал протирать очки рукавом рубашки, вытирать глаза...

Я тут часто хожу неопрятным, хотя есть «лондри», то есть прачечная такая, если по-нашему; туда можно принести свое грязное белье и постирать самому, закинул в стиральную машину и свободен, потом пришел ко времени, вытащил и ушел. Но я ее не люблю – грустное это место, и как будто специально всегда в ней толкуются только эмигранты – китайцы, чернокожие, поляки даже есть – напоминают о том, что я тоже, как они, эмигрант... Ты бы меня пожалела, увидев таким запущенным. А может, позлорадствовала бы. Так тебе, козлу, и надо, дескать. Бросил нас – вот и ходи в несвежих рубашках. Одно утешение, что там, где я работаю, есть и погрязнее типы.

Люба, я часто думал, еще до побега моего, что нам надо развестись. Что-то у нас с тобой не заладилось. Я стал тяготиться семьей, и если б не моря, то, думаю, я бы ушел все равно. Но дети! Особенно Димка. Я его так люблю. Про второго не могу такого сказать. Какой-то он странный, этот второй ребенок, чужой, не свой, хоть и маленький, и забавный, и очень умный, сразу видно, что в отца, даже больше, чем первый. Но не любимый. Так похож на меня, что оторопь берет. Слишком даже похож, и слишком напоминает он мне о моих собственных недостатках. И ведь хороший ребенок, интересный, умный, все схватывает на лету, пытливый ум, и даже на еврея похож больше, чем папа... Вот бы мать моя обрадовалась! Кстати, она так и не приехала? Хоть бы на внука маленького посмотрела. Знаю, чувствую, что не приехала, словно и она его избегает. Я заметил: его даже маленького все избегают, не знают как с ним быть, чувствуют его странность, а объяснить ничего не могут. И бабу, мать мою, не провести, чует старая карга, что не стоит приезжать, дескать, не хочет дискредитировать вас своим еврейством, а то все будут знать, что бабка – еврейка... Будто не знают! Достаточно было на меня или на младшего посмотреть... Она из эгоизма не едет, просто не хочет, да и денег жалко этой жидовке, прости господи за такие слова, хоть и правда это сушая, тем более мне немного позволено, я сам еврей, ну, или хотя бы сын еврейки... Ну да бог с ней, она всегда такой была.

В общем, тяжело мне было с младшим, зато со старшим – легко и приятно. Я знал, что он не держал на меня обиды за то, что я его поколачивал. Не такой у Димки характер. Он ведь все с нами прошел! Хлебнул по полной – и все нашу тогдашнюю неустроенность, и переезды с квартиры на квартиру, и все эти ужасные частные дома, в которых приходилось жить до покупки квартиры. А этот – родился, понимаешь, в трехкомнатной кооперативной квартире, замашки как у барина. Может, я сам ему завидую даже? Скорее всего, да. Папа ему то, мама ему се, братишка старший нянчится и пендели от меня даже получает, что не доглядел, как тогда на пляже, когда я при всех ему оплеуху отвесил. Я как увидел, что маленький уже водой захлебывается, так прямо и обезумел, подлетел, из воды его вытащил, ну и Димке за это досталось. Но он ведь тоже ребенок, мальчишка, шустрый как метеор, ему не приглядывать

за младшим, а самому подурачиться хочется, с другими ребятами поиграть. А я все на него свалил и сам плавать ушел.

...А как он грудь твою жадно хватал, когда совсем маленьким был! Видел пару раз, как ты его кормила, жутко от этого становилось. Он прямо ее выхватывал, впивался в нее, ты аж вскрикивала. Настоящий маленький хищник. И Димка это тоже заметил. С этого момента мне с ним было неловко, неудобно. Еще этот взгляд его тяжелый – ну сущий дьяволенок. Я недавно в кино решил сходить, в такой красивый кинотеатр, похожий на базилику или на оперный театр, «Колизей» называется, на фильм «Омен», то есть «Знак», или «Знамение». В СССР, уверен, его не показывают, слишком тема щекотливая – много религии и мистики, наши бонзы этого не любят. Так вот, главный герой, пока он мальчик, ну так похож на нашего младшего! Я когда взглянул на этого мальчика с тяжелым взглядом, на этого будущего сатану, так мне дурно стало, кое-как высидел до конца сеанса. Аж в пот холодный бросило. Ты бы сама ужаснулась, если б увидела. До чего похож!

Если честно, я даже рад, что далеко от него. Когда вспомню этот взгляд его требовательный, укоризненный, не по себе становится. Знаю, что не прав, но не лежит у меня к нему душа. Понимаю, что это моя недоработка, мой провал. Слабый я человек. Не смог с родным ребенком общий язык найти. Если б не сбежал, пришлось бы с ним общаться, разговаривать. А теперь вообще не знаю, свидимся ли когда-нибудь.

Письмо третье, 17 ноября 1982 года

Вот, Люба, скоро и год этот закончится. И пусть заканчивается! Поскорее бы. Тяжелый год, коварный и подлый. Или это я про себя так? А год, наверное, не при чем. Снова слушал «Мадам Баттерфляй» и плакал. И все вспоминаю, вспоминаю, вспоминаю, не могу без этих проклятых воспоминаний!

Когда мы переехали в новую квартиру и еще не родился второй сын, к нам сразу повалили твои родственники. Моих родных мы быстро отбросили, точнее, это они нас отбросили – переехали в другой город и ни разу с тех пор не объявились. Я тогда еще в газете работал, они это прекрасно знали, я им телефон свой в редакции оставлял, мы ведь тогда с квартиры на квартиру переезжали... Твои родные, хоть и получше моих будут, тоже со странностями. Мы ведь им всем как могли помогали – переехать к нам поближе, и брату, и сестре. В итоге с братом твоим мы все разругались. Но, наверное, ты правильно сделала, что перетащила из Сибири свою сестру, пусть у нее и хватает закидонов, но она по крайней мере тебя не предаст и не бросит. Довольно завистливая женщина твоя сестра, и ревнивая до жути, ревнует тебя к твоим подругам, оттирает их всех, дескать, а ну подвиньтесь, не видите, что ли, я здесь теперь главная! Вцепилась в тебя мертвой хваткой и не отпустит уже, наверное, никогда. Со мной у нее поначалу тоже были стычки, но тут она поняла, что на таран, как с твоими подругами, идти нельзя, а то головушку можно расшибить. Она решила быть со мной дипломатом, даже немного заискивающим таким дипломатом. Если захочет, она может быть очень гибкой. В общем, в последний перед моим побегом год мы вполне мирно общались, хоть видно было, что недолюбливаем друг друга. Правда, мы и виделись тогда немного, я приехал всего на полтора месяца, и сразу – этот проклятый рейс в Арктику, где чуть не затонули... Мне так в пароходстве сказали: сейчас – Арктика, а осенью – Канада. Если отказываешься от Арктики, не даем тебе Канаду. Вот так-то. И, вот в такой веселой добровольно-принудительной манере, двинули мы в эти мерзкие льды. Я ведь никогда не рассказывал тебе, как мне там гадко было, и про то, как чуть не потонули, лишь мельком, со смехом упоминал. А ведь все серьезно было, на волоске от гибели... Я тогда взмолился: Господи, ну зачем так? Сын маленький только что родился, я его толком и не видел, так хочется еще с ним поиграть, потискать его, у нас такие были трогательные тогда с ним отношения... Тогда!

Моя Люба, Любушка, моя Баттерфляй! Прости, что так тебя называю, я знаю, этот оперный пафос тут ни к чему. Слушаю Пуччини, а сам слезы глотаю. Вот, уже и до «Турандот» его нашел, купил кассету, – дорогие они здесь, эти фирменные записи, зато с Марией Каллас... Но «Мадам Баттерфляй» мне гораздо ближе. Ах, если бы ты была как жестокая принцесса Турандот! Но нет, ты Баттерфляй. Да, я часто думал, что пора нам уже разбежаться и не мучить друг друга, но все никак не мог. И не только из-за детей, из-за Димки, точнее. Нет, не только из-за него. Из-за тебя тоже, любимая моя. Пишу это, и слезы капаят на стол, на бумагу, сейчас высморкаюсь и продолжу.

Знаешь, я и сам удивляюсь, как я так взял и все обрубил, начал, по сути, жизнь с нуля, с самого начала. Как будто не было ничего «до», и не будет, а есть только «сейчас», now, как здесь говорят. А ведь смог, смог так сделать, смог! Никогда не думал, что я на такое способен, настолько мне стало тошно в этой Стране Советов, будь она неладна. Каждый раз я возвращался сам не свой из этих заграничных поездок, разбитый, больной, взвинченный. И так тошно всегда было, невыносимо тошно и противно. Я, наверное, так больше не мог, вот и решился прекратить одни мучения и дать волю другим. Променял шило на мыло, получается.

Помнишь наш разговор, в котором я пытался прощупать твою позицию? Сначала я. А потом вы ко мне. Уверен, мы бы нашли како-нибудь способ, надо было лишь хорошо подумать, поспрашивать людей. Надо было запастись терпением и согласиться с тем, что так будет лучше

– сначала я, потом вы... Я знаю, это звучало совершенно нереально, и сегодня так звучит. Железный занавес никуда не делся и не денется еще долго. И все равно надо было искать какой-то путь, лазейку, например, устроить тебе фиктивный брак с евреем из Израиля, за деньги, разумеется... Но ты сразу все отмела, да еще и Димку подключила к этому. Уж кого, а его я не виню. А вот ты могла быть немного гибче. Но куда нам, совкам, до такого? Мы запуганы этой проклятой системой, затерроризированы, боимся шагу ступить без оглядки. Это я, многое повидавший там, на Западе, еще как-то мог о чем-то догадываться. А ты – нет. И все же меня расстроила и даже обидела твоя категоричность. «Да мы от тебя откажемся сразу же и навсегда; правда, Димка?» Ты была сама не своя. Наэлектризованная до крайности, с внезапно проснувшимся патриотизмом, ты была в тот момент отвратительна, похожа на парторга, почти что с революционным запалом. Или это я плохо объяснил? Так или иначе, больше я попыток таких не делал. Может, и зря.

Зато сегодня мой отъезд, точнее, побег, не такая уж неожиданность для тебя. Наверное, вам с Димкой пришлось рассказать этим сукам из ГБ, что были у меня такие мысли, у этого предателя Родины, у этого перебежчика... Они умеют раскалывать. Сам знаю, они ведь меня несколько раз пытались завербовать. Но потом, видимо, повнимательнее к роже присмотрелись и поняли, что не надо им этого жидка к себе в контору брать, все секреты еще сдаст, и отстали, гадье вонючее.

Если ты им рассказала про наш разговор, я тебя не виню. Ну, узнали они, что да как, а то будто не догадывались? Но после инцидента они, разумеется, взяли тебя на прицел, установили слежку и больше никуда не выпустят, несмотря на твой от меня отказ и даже заявление на развод. Их так легко не провести, они до конца все равно не верят тебе. Точнее, они должны были поверить, увидев твою искреннюю реакцию, твое отчаяние и слезы, истерику Димки... Я так живо все это представляю, сидя в своей холостяцкой квартире в Монреале, словно телевизор смотрю. Но они все равно, в соответствии с правилами, прослушивают домашний телефон, возможно, даже «наружку» установили... А вдруг мы их разыгрываем, а вдруг мы такие коварные, что все подстроили? А может, мы вообще канадские шпионы? Из-за меня тебе приходится жить в этом аду. Но, уверен, что через некоторое время они перестанут прослушивать телефон. По крайней мере, наружную слежку точно снимут. Слишком много возни и без толку.

Бедный Димка, должно быть, он страдает не меньше твоего. В школе давно все узнали о его отце-предателе, еврее-перебежчике, начали травить. Плюс наверняка приходили дяди из «органов», довели парня до слез, до нервного срыва. Своими бы руками их задушил! И тебя небось, Любушка-голубушка, довели уже до ручки. Я не то, что уверен, я знаю, ты больше не работаешь в райкоме, таких сразу же увольняют. Может, вообще из партии исключили. Скорее всего, кстати. За ними не заржавеет! Наверное, ты, униженная и оскорбленная, устроилась, возможно, с трудом, в какую-нибудь контору. Да еще начальник клеится, он ведь все про тебя знает, пришлось рассказать. Знаешь, если что, я не обижусь, хотя неприятно, ведь мы все еще муж и жена, хотя бы де юре. Я в таком случае хочу, хотел бы, чтобы ты кого-нибудь по любви нашла. А не спала бы со сволочью-начальником. Нет, не надо этого, Люба, прошу тебя! Уж лучше в уборщицы. Хотя кто меня спрашивает? Ведь это я тебя в такое положение поставил, да еще имею наглость наставления давать. Каков нахал! Так что делай как знаешь, как подсказывает тебе внутренний голос. И если не простить, то понять меня попробуй. Не мог, не мог я по-другому. Подлец я, не спорю и никогда не буду ни с кем об этом спорить, но не мог.

Письмо четвертое, 23 ноября 1982 года

Люба, привет тебе, моя дорогая! На этот раз хочу рассказать тебе о работе, о простом и немного бытовом. Работа на радио поначалу казалась мне пределом мечтаний. Я был счастлив. Но вот прошел год, и она мне обрыдла. Эти эмигрантские рожи, полные ненависти к коммунизму и СССР, скукоженные и перекошенные, словно дерьма объевшиеся. Я сам не меньше ненавижу и совок проклятый, и коммунизм, и СССР, но ведь нельзя этой ненавистью все время жить, питаться! Мертвечина какая-то от этого рождается. А у этих задрипанных ослов с плечами в перхоти, которые там заправляют, нет ничего кроме ненависти. Очень гадко и тошно от этого. А я оказался в ловушке. Вроде, с одной стороны, интересная, престижная и хорошо оплачиваемая работа, не надо даже учить язык, все по-русски говорят. Хотя английский я уже знаю почти в совершенстве, читаю на нем и пишу, говорю свободно, пусть и с акцентом, но он еще долго будет оставаться. Правда здесь, в Монреале, хорошо бы и французский знать; точнее, даже лучше его знать, чем английский, это ведь провинция Квебек, она франкофонная. Что ж, за чем дело стало, выучу и французский. Такова наша эмигрантская доля – учиться, учиться и еще раз учиться, как завещал нам всем, бывшим советским людям, великий Ленин...

И знаешь, при всем своем органическом неприятии совка у меня нет ненависти к России, к русским. И к тем, кто говорит на этом прекрасном – да, прекрасном – языке. На нашем с тобой родном языке. Он и правда велик и прекрасен, пусть не так благозвучен, как испанский, итальянский, французский, не так легок и гибок, как английский. А какая у нас великая литература! Я увидел своими глазами, что здесь, на Западе, очень уважают и Толстого, и Достоевского, и Чехова. Они как я – ненавидят и боятся СССР, этого монстра, эту тюрьму народов. А Россию, русское – любят. Нашу литературу они называют великой; наш балет они превозносят до небес. Чайковского, Прокофьева, Шостаковича, Плисецкую – боготворят. Так что мне не стыдно за свою Родину, за Россию. СССР – это не Родина мне. Здесь я учусь у них – да, у них – любить заново свою Россию, которая навсегда останется моей. И Чайковского я много слушаю, но особенно наших бардов – Высоцкого, Визбора, Окуджаву. Храню кассеты с их записями как самое дорогое сокровище. Я ведь, когда с корабля удирал, взял только легкий чемоданчик, плащ, кепку да кожаный ирландский пиджак. Одну смену белья еще прихватил, да эти кассеты, плюс бритвенный станок «Джиллетт» и несколько свежих лезвий к нему. Самое лучшее, что можно найти для моей чувствительной кожи. И как я был счастлив, когда купил эти лезвия в первом своем «забугорном» рейсе, в Антверпене, в 1976 году. Это была моя первая покупка, самая важная, самая необходимая и самая любимая. Потратил на них всю свою получку – инвалютные рубли, что заработал на погрузке. Стоял вместе с грузчиками по самые яйца в ледяной воде, разгружал и грузил; они сначала подсмеивались над моей неловкостью, но со временем приняли в свою команду, даже зауважали. Я ведь упрямый, и за себя могу постоять, у меня комплекция не как у типичного хлюпика-интеллигента. Да и по боксу разряд имеется.

...Помнишь, Люба, как мы с тобой одно время часто слушали эту песню Александра Городницкого? «Над Канадой небо сине, меж берез дожди косые. Хоть похожа на Россию, все же это не Россия». Представь, я с ним недавно виделся!

Я расскажу, как это произошло. Он не с концертом, конечно, приезжал, а по работе. Он ведь тоже, можно сказать, моряк, только ученый-океанолог. Узнал я про это от коллег на радио, мол, из СССР в Канаду прибывает ученая делегация для участия в международном симпозиуме, посвященном проблемам океанского дна, и в ее составе – Городницкий, известный бард... Не часто, надо сказать, такое случалось – приезд советских ученых, поэтому мы решили сделать про это небольшой репортаж. Никто из нашего коллектива общаться с советскими не горел желанием, творчество Городницкого их тоже не трогало. Я вызвался сделать репортаж. Поехал туда как можно скорее; на первом же перерыве встретил Городницкого в

коридоре, представился, взял небольшое интервью для радиостанции. Мы разговорились, я назвался поклонником его творчества и сказал, что хотел бы пообщаться с ним подольше, если у него есть свободное время; в этот же вечер, после симпозиума, мы условились встретиться в более располагающей обстановке. Я знаю хороший французский ресторан с невысокими ценами, мне его коллеги рекомендовали, решил его туда пригласить. Остался до конца симпозиума, ждать Городницкого.

Мне было скучно, но я терпел, наблюдал за присутствующими, особенно за советской делегацией и Городницким. Они все сидели вместе, он старался не выделяться из общей массы соотечественников, но все равно выделялся. Казалось, он чувствовал себя в Канаде вполне комфортно; по крайней мере, не бросал затравленных взглядов по сторонам, не разглядывал пристально других посетителей, как это делали его коллеги. Он и одет был лучше всех из них, в простой водолазке и строгих брюках, но они сидели на нем отлично и даже благородно, словно были куплены в дорогом магазине. В отличие от своих коллег-ученых, одетых в одинаковые мешковатые костюмы мышино-серого цвета... Я посмотрел на него повнимательнее и ясно различил особую, хорошо знакомую форму носа, губ и выражение глаз. Тоже еврей. На следующем перерыве, чтобы не привлекать внимание после окончания симпозиума и не возбуждать подозрения у его коллег, я снова подошел к нему и дал адрес ресторана, объяснив, как до него добраться. Он был в десяти минутах ходьбы. Городницкий понимающе кивнул, сказал, что запомнил путь и присоединился к своим коллегам. Я сбежал с симпозиума, чувствуя себя школьником, прогуливающим занятия; пару часов гулял по городу как молодой бездельник, день был на редкость погожий, несмотря на близость зимы, снега было немного, светило солнце, я предвкушал вечер в ресторане и общение с интересным человеком.

На встречу я пришел первым, Городницкий появился пять минут спустя, мы заказали закуски и виски; я сказал, что знаю все его песни наизусть; он был явно польщен. Я спросил его, не будет ли у него проблем после вечера в ресторане? Городницкий сказал, чтобы я не волновался, он уже придумал легенду о том, что в Канаде живут его дальние родственники, я – один из них. Мы посмеялись над этой ситуацией и над вынужденной сообразительностью советских людей, и я рассказал ему свою историю, все как есть, без приукрашиваний, с той абсолютной искренностью, на которую способны русские люди... Городницкий сдержанно слушал, без единого упрека или осуждения, только в конце сказал, что, наверное, мне очень тяжело в такой ситуации, и пожелал удачи. У меня было ощущение, что я разговаривал с очень близким другом, с которым давно не виделся и который все готов выслушать и понять... Мы коснулись многих тем, говорили о советской системе, о здешней жизни, которая была ему интересна и о которой я рассказывал максимально честно, не приукрашивая, но и не искажая фактов. Конечно, зашла речь о других бардах – Высоцком, Визборе, Окуджаве. Мы оба говорили о них с восторгом, особенно Городницкий; он считал их своими учителями, а себя – их скромным учеником. Меня такое отношение очень тронуло.

Ресторан закрывался, а мы все никак не могли наговориться и напеться тоже. У меня «случайно» была с собой гитара, и он запел своим негромким баритоном, а я стал наигрывать. Последней, так сказать, на бис, была наша с тобой любимая «Над Канадой»; когда он пел строчки из последнего куплета, «Не спеши любовь оплакать, подожди меня обратно», я не смог дальше играть и зарыдал в голос. Городницкий похлопал меня по плечу.

Вышли мы из ресторана, конечно, поддатые, тепло попрощались, он поехал в отель, где остановилась советская делегация, я взял такси до своего монреальского дома. Несмотря на усталость и опьянение, почти всю ночь не сомкнул глаз, вспоминал, как он пел своим благородным баритоном «Над Канадой, над Канадой». И строчки эти без усталости шептал, которые мне душу рвали: Не спеши любовь оплакать... Такая отдушина для меня была, эта встреча! Отдушина и печаль.

...Ах Люба, Любушка, если б ты знала, как все здесь... по-иному, по-другому устроено! И, скажу тебе честно, по-человечески устроено. Все очень просто: ты себя здесь не тварью дрожащей чувствуешь, а именно человеком. Хотя есть и нюансы. Не все тут так легко и просто, как некоторые думают. Никто не ждет здесь никого с распростертыми объятиями. Вообще, на Западе люди в основном очень закрытые, необщительные, держатся на дистанции. Именно этим, прежде всего, они и отличаются от нас. Об этом можно долго говорить, но не буду, потому что это надо видеть. Заканчиваю писать на сегодня, глаза слипаются, уже четыре утра, а мне на работу в семь вставать. Буду там клевать носом, но, слава богу, эфир у меня по вторникам короткий. Целую тебя, Люба, печаль, совесть и боль моя, Любушка, моя дорогая Баттерфляй...

Письмо пятое, 4 декабря 1982 года

Привет, дорогая моя Люба, Любушка-голубушка, думал, что на следующий же день буду писать тебе новое письмо. Но не смог осилить такой темп, то одно, то другое отвлекало.

Все спрашиваю себя, извожу глупыми вопросами: как же так получилось? Ты там, я тут. Ты с детьми нашими, а я один. Немыслимо, невозможно вообразить себе это. Сам от себя не ожидал такого. Я ведь нашел способ передать тебе деньги, но ты, гордячка, их вернула. Что ж, пусть так. Пусть нам предстоит то, что предстоит. Мы оба будем это расхлебывать. Да, я трус, Люба, я даже не решаюсь позвонить. И все-таки я не пропал, я тут, рядом, всего через океан, и я найду способ прорваться к вам или хотя бы помочь деньгами. Я вас все равно не брошу. На себя не трать эти деньги, если тебе это так претит, но на детей-то, на детей ведь могла бы и взять!

Милая моя Баттерфляй, Любушка, любовь моя! Я опять слушаю эту арию в исполнении Марии Каллас. Какой голос, какое чувство! Слушаю, и слезы душат, не дают дышать, ничего из-за них не видно и не слышно, меня просто выворачивает наизнанку... Бьюсь головой о стену – в прямом смысле, рыдаю, вою, реву как раненный зверь. Крушу мебель, кидаю бутылку с остатками виски о стену, белую, без обоев, такую не советскую стену; бутылка разбивается вдребезги, осколки летят на меня, хорошо, что я в очках, а то мог бы получить их рикошетом в глаза. Один осколок ранит меня в руку, другой попадает в лицо, я чувствую кровь, она стекает вниз, доходит до губ, я облизываю – солоноватый привкус. Это меня немного отрезвляет, пьяного и безумного.

Я так люблю тебя, моя Любушка, моя Баттерфляй, самая моя дорогая... Что мне делать? Вернуться в совок? Исключено. Они меня уморят, или я сам там погибну. Не могу этого сделать, не могу и все. Часто в последнее время приходит шальная мысль: прыгнуть с балкона – и все, конец, никаких мучений. Знаешь, что меня удерживает от этого? Не трусость, не эгоизм, нет. А то, что это будет слишком легким, слишком сладким даже концом. Я не боюсь смерти, моя дорогая Любушка, моя дорогая Баттерфляй. Образ экзотической японки и твой смешиваются в одно невообразимое целое. Тебя, наверное, это взбесило бы, все эти вздохи, сказки, опера, Баттерфляй... Я знаю, это притянуто за уши, пошло в конце концов! Но не могу отделаться от этого навязчивого образа. Что мне делать, слабому, одинокому человеку, осуществившему свою мечту и так дорого за нее заплатившему?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.